

Рада Полищук

## Не сошлось

«Я сегодня плохую записку написала, – тихо сказала мама. – Папусе не показывай...»

Она протянула мне вырванный из блокнота листок в клеточку, коряво исписанный синим карандашом. Попробуй написать аккуратно, лежа на спине, с датчиками монитора на груди – как получается, так и пишется.

«Почему карандашом, мамочка?» – «Ручка не пишет».

В реанимацию нас пускали по знакомству, за деньги и ненадолго – минут на десять, не больше, а дел было много, и все неотложные. Я сложила листок пополам и убрала в карман. Успела только заметить, что мама внизу написала: «26.03.83». На других записках она не писала число.

Она ошиблась на год. Мистика? И ручка не пишет. Последняя записка.

Я ее не прочитала.

1982 год, 27 марта, суббота, 12 часов 5 минут.

Умерла моя мама.

Пятый инфаркт, тяжелый, трансмуральный, крупноочаговый то есть. Пятый!

Господи, никто из друзей слов таких не знал, никогда не слышал, а мы с сестрой обмирали в ожидании приговора врачей: мелкоочаговый? трансмуральный?

Первый трансмуральный у мамы был в 1970-м, ей только исполнилось пятьдесят пять. Она привезла его из Одессы после

похорон жены своего старшего брата, всеми любимой тети Мили, Милечки, мучительно умиравшей от рака желудка. Мама последние два месяца ухаживала за ней, тетя Миля умерла у нее на руках, мамино сердце разрывалось от горя – за безвременно ушедшую Милечку, за дядю Илюшу, за всю их осиротевшую семью. Ей так казалось.

На самом деле сыновья, оба, года не прошло, уехали от могилы дорогой мамы на ПМЖ – один в США, другой в Израиль, и больше никогда не приехали в Одессу, даже отца в последний путь проводили не они. А сам дядя Илюша дважды женился после смерти Милечки. Сначала на ее вдовствующей с войны сестре Фире, старше его на семь лет, женщине крутого нрава, необщительной, неласковой, совсем не похожей на Милечку – ни смеха, ни шутки, тоже ведь одесситка, а как вобла сушеная. Недолгим был этот брак, Фира умерла внезапно, подавившись костью, что оказалась в фаршированной рыбе, – таки да, она не умела готовить, но хотела доказать Илюше, что ничем не хуже Милечки. Не получилось. Дядя Илюша горевал – вторую сестру, дочь уважаемого в городе парикмахера-брадобрея Абрама Гилелевича Мильмана, похоронил из своего дома. Была еще одна вдовствующая, младшая, но уж нет, решил, дядя Илюша, хватит. А все же женился еще раз, последний в своей жизни, тоже на родственнице, только дальней, не разобрать по чьей линии, лишь фамилией перекликалась с какими-то далекими ветвями, и то не понять было, своей фамилией или мужниной, от первого из трех браков. Эта была боевая, громкоголосая, за словом в карман не лезла. Слова с языка слетали мгновенно – ласковые, без разбора лица и имени: «рыба моя», «люба моя», «мамонька», «рыбонька золотая» – или бранные, смачные. В лексике себя не ограничивала, и на русском, и на еврейском ругалась виртуозно, в любой обстановке – на Привозе, в трамвае, во дворе с соседями, даже дома. Но здесь с оглядкой на Илюшу, потому что он категорически это не выносил, надевал свою межсезонную кепку с высоким околышем и уходил на улицу, хлопнув дверью, в любое время дня и поздно вечером. Она неслась следом, кидая под язык валидол, и кричала на весь город: «Прости, любя моя! Прости, рыба моя! Прости, Элечка!». Душила в объятиях

и вывороченными наружу толстыми губами всасывала в себя поцелуями, мокрыми, звонкими. Звали ее Клара. Она и похоронила дядю Илюшу. И после его смерти близких родственников покойного в его дом не пустила, как бы чего не унесли невзначай. В том числе и меня не пустила, любимую племянницу дяди Илюши, прилетевшую из Москвы попрощаться с последним родным человеком в Одессе.

Но это было после смерти моей мамы.

А тогда, после похорон Милечки, кто-то из племянников посадил маму в скорый поезд № 24 «Одесса – Москва», и она поехала домой, не сказав никому про нестерпимую боль за грудиной, в левой руке и лопатке, про то, что у нее кончается нитроглицерин, а без него ей дышать тяжело, хоть от него всегда болела и кружилась голова. У них непоправимое горе, она потерпит, до Москвы ехать всего сутки, потерпит, место у нее нижнее, ляжет и будет лежать. Так успокаивала себя мама. Но не тут-то было – сосед по купе, дебошир, пьяница, пил и буянил весь день и всю ночь, управы на него не нашлось. Две другие соседки перешли в соседний плацкартный вагон, отыскивали два свободных места на верхних боковых полках, а мама стояла в коридоре и тогда, когда буян наконец уснул, оглашая вагон нечеловеческим храпом. Она потом призналась нам – от его ног тошнотворно дурно пахло. Ее даже вырвало, ей было совсем плохо, и проводница уложила ее в своем купе. У мамы не было сил сопротивляться. Это был инфаркт, и рвота – от инфаркта.

С вокзала мы на «скорой» отвезли маму в больницу – ЦКБ № 3 МПС. Первый инфаркт, первая палата интенсивной терапии, тогда еще не было кардиологических реанимационных отделений. Мозель Арнольд Иосифович, заведующий отделением, – первый врач, который спас маму.

Или Бог услышал наши молитвы?

Жизнь остановилась резко, будто на полном ходу сорвали тормоз в мчащемся по рельсам составе.

Больше месяца мама пролежала в больнице, тридцать восемь дней. Мы молились каждую минуту – папа, Вика и я. Не вместе, нет, друг перед другом мы делали вид, хорохорились, стараясь

не глядеть глаза в глаза, только бы не выпустить боль и страх, только бы не расплакаться, чтобы мама не увидела наши слезы. Она все время улыбалась, потому что мы рядом, Мозель решил нам быть с мамой. Низкий поклон, до сих пор мысленно кланяюсь – без нас мама не выжила бы.

От резкого торможения в голове все перемешалось, оно и к лучшему.

Как мы болели! Как яростно, азартно болели! Не инфарктом, нет. Шел чемпионат мира по хоккею. Мы страстные болельщицы – мама и я, фанатки нашей сборной! Наши играют с чехами, шведами – какой инфаркт? Мозель категорически запретил в отделении включать телевизор, а мы – в палате интенсивной терапии, у нас привилегия. У девочек на нашем сестринском посту есть телевизор. В комнате отдыха. Болеем вместе! Бегу к девочкам, влетаю обратно в палату – гооол! Кричим шепотом, чтобы не разбудить мамину соседку Зинаиду Григорьевну, даму спокойную, величавую, даже в таком непрезентабельном виде сохраняющую свое превосходство над окружающими. Ее уважали все – от нянечек до Мозеля. Она была старше мамы на тринадцать лет и называла ее «Идочка, деточка».

– Ну какая вам разница, деточка, кто кому забил гол, кто будет чемпионом мира?! У вас инфаркт! Вам нужен покой! Завтра же все расскажу Мозелю.

Нет, не рассказала, конечно. И вскоре умерла, так и не вышла из больницы, хотя и на поправку, и на выписку шла раньше мамы. Вот вижу – стоит в дверях нашей палаты, высокая, статная, с гордо откинутой седой головой, уже одетая не по-больничному – в белой блузке с кружевным воротником-стойкой, кружевными манжетами, в строгой черной юбке, грациозно облегающей стройные бедра, черные туфли-лодочки на невысоком каблучке. Дама! В ее присутствии хотелось встать, приосаниться, подтянуться и почтительно склонить голову. Улыбается приветливо и грустно: «Поправляйтесь скорее, Идочка. Берите с меня пример. Я буду скучать без вас, деточка... И без вашего хоккея...».

Мы дружно расхохотались, легко и весело, по щекам от смеха катились слезы. От смеха! А она вдруг громко вздохнула, словно всхлипнула, как-то невпопад, и упала, ударившись головой

об пол. Глухой такой, неприятный звук получился. И надолго застрял в памяти, вызывая онемение рук и ног до кончиков пальцев: вот так, вот так *это* может случиться – в разгар смеха, когда у всех хорошее настроение, беда отступила, и за порогом – жизнь.

Сильное потрясение вызвало у мамы повторный инфаркт, мелкоочаговый, но инфаркт. Нас откинуло назад, выздоровление шло трудно. «Берите с меня пример, Идочка...» Нет, не *это* имела в виду Зинаида Григорьевна, не *это*, она не звала маму за собой в неведомое. Она желала ей выздоровления.

И мама выписалась из больницы, и на какое-то время мы за были об инфаркте. Мама так хотела. «Не укладывайте меня, девочки. Я еще належусь», – повторяла, и какой-то *иной* смысл услышали мы в этих словах только после маминого ухода. А так – что ж, это похоже на маму: не соблюдать режим, не беречь себя. «Мне нельзя залеживаться», – это она о себе, у нее все горело в руках, она никогда не сидела без дела, оберегала папу после тяжелого инсульта, все брала на себя: «Я-то могу, папуся не может». Это уже после первого-второго инфаркта.

«Лучше три инфаркта, чем один инсульт», – сказала мама, увидев папу в реанимационной палате, обездвиженного, с затрудненной речью.

«Лучше быть богатым и здоровым», – сказала папин лечащий врач Дунсама Чайроповна Кунджиева в той же ЦКБ № 3 МПС, в неврологии. Сказала и улыбнулась своей неловкой шутке. Она не была уверена, что папа выкарабкается, но выхаживала его как родного. Папа целовал ей руки.

«Лучше быть, чем не быть...» – сказал папин сосед по палате, молодой мужчина с двусторонним инсультом, и смотрел на нас глазами, полными отчаяния и надежды.

Конечно, лучше быть...

Мама умерла в шестьдесят шесть, папа пережил ее на шестнадцать лет, восемь месяцев не дожив до девяноста. Речь восстановилась, он ходил почти до последнего дня, с палочкой, но ходил. У него было два инсульта, у мамы пять инфарктов. Такая получилась статистика. Все можно перевести в цифры, сравнить, пересчитать, сложить или вычестить. И сделать какие-то выводы.

Или считать, что все заранее predetermined, и не нашего ума дело решать – правильно, неправильно. Плыви себе по воле случая. Выплывешь – значит, судьба, а на нет – выходит, и суда нет.

Папин отец, мой дедушка Арон, умер от инсульта в шестьдесят три года. И у папы первый инсульт случился в шестьдесят три. Роковое стечение? Так думали все родственники, предвосхищая папину скорую смерть год в год с дедушкой. Не сошлось, в лучшую сторону. Папа выжил и жил еще долго.

Бабушка Голда, мамина мама, умерла в восемьдесят семь лет от воспаления легких, долго не болела, не мучилась. Пришло время. Двадцать один год могла бы еще жить мама, если верить в родовое predetermined. Не сошлось.

Я очень рассчитывала на бабушкино долголетие, ночами заклиная кого-то: пусть, пусть, пускай моя мама живет так долго, как бабушка. Пожалуйста... Пусть моя мама живет долго-долго, потому что я люблю ее, потому что она моя жизнь, потому что мы все любим ее и жить без нее не сможем... И она не сможет без нас...

Пожалуйста!

Бессильные слова срывались с языка беззвучно, шепотом, в крик, клокотали внутри, испепеляя, со стоном рвались истерзанные нервы. Я истекала слезами, я выплакала глаза свои – они заплыли туманом, опухли так, что веки не поднимались. Я почти ничего не видела вокруг, да и видеть не хотела. Только маму, мою маму. А ее нигде нет.

Даже бабушку Голду вижу, хоть совсем не скучаю по ней, мы за всю жизнь виделись считанные разы – в Одессе на Соборной площади. Подходящее место встречи с родной бабушкой, нечего сказать, – скамейка в сквере. Мама приводила нас туда, празднично причесанных, принаряженных, чтобы бабушка посмотрела на московских внучек, похвасталась перед своими компаньонами и компаньонками, с кем коротала время из года в год по вторникам, средам и субботам. Привычка – вторая натура, никаких привязанностей у бабушки не было, любила самоё себя и старшую дочь свою, и то – без надрыва, не в ущерб себе. Провела нас вдоль длинной скамьи, чтоб все увидели, сказала несколько слов по-еврейски, громко, отчетливо, чтоб все услышали, навер-

ное, похвалила нас. Всё, ритуал окончен, и она тут же забывала о младших внуках до следующего нашего приезда в Одессу.

А после маминей смерти вижу ее – то тут, то там, выходит, как из-за кулисы, правой рукой поправляет на шее газовую косыночку в мелкий горошек, левой – валик из седых волос, собранный на затылке. Как всегда аккуратна, почти стерильна, спокойна и холодна. Губы по обыкновению плотно сжаты, только чуть растянуты в уголках – что-то наподобие улыбки. Не к месту, совсем не к месту. Младшая дочь умерла, безвременно, если сравнивать с ней, с Голдой. На двадцать один год раньше.

«Еще бы лет пять пожить, девочки», – говорила мама в последние месяцы, как будто просила нас помочь, как будто чувствовала, что ее время на исходе.

«Все умирают, – говорила спокойно бабушка Голда, – так устроен мир».

И больше ни слова, ни слезинки, ни вздоха. Для чего приходит? Никогда так часто ее не видела и, признаться, почти не думала о ней.

Но может... может, она *там* маму встретила – осеняет догадка. Может, мама просила что-то передать нам?

Записка?!

Моя боль, моя вина, моя непростительная вина. Неправивая.

«Ты положила ее в карман больничного халата». Сказала по-еврейски, забыв, что я не понимаю ни слова, повернулась и ушла, не глядя в мою сторону. Я не говорю на идише, но все поняла. Ну конечно же, да! Как я не сообразила...

Дома ночью под одеялом было страшно до потери сознания, не фигурально – наяву. Сознание путалось, не желая принять непоправимое: мамы больше нет.

Каталка стоит в конце длинного коридора реанимационного блока. Там, накрытая простыней, лежит моя мама. Она еще здесь, несколько десятков шагов разделяют нас... Я хочу подойти к ней, хочу удержать... Не уходи, мамочка, зову... Прошу: не уходи!.. Меня держат за руки, жестко говорят: туда нельзя! Но почему?! Если маме страшно, я должна быть рядом. Ты – моя жизнь, мамочка, не уходи!..

Не-льзя!

Мама лежала одна в конце коридора, а мы плакали возле закрытой двери – папа, Вика и я. И все одесские родственники, кто жив, кого уже нет, сгрудились в углу, поблизости, перешептываются, всхлипывают, кто-то тихо читает Кадиш, заупокойную молитву, – за упокой души моей мамы. Слышится: «Ида, бат Голда» – «Ида, дочь Голды...».

Не в страшном сне – наяву. Мамы больше нет с нами. Одесситы непривычно тихи, не знают, как вести себя в московской больнице, в Одессе не сдерживались бы – выли, плакали, кто кого перекричит, рвали бы на себе одежду. Горю надо дать волю, иначе его не перебороть.

Только бабушка Голда выделяется среди всех невозмутимым спокойствием и стоит не в толпе горюющих родственников – поодаль, будто не ее дочка умерла, будто у нее здесь отдельная миссия.

Какая миссия? Кто ее прислал? Зачем?

Вот достает из своего черного ридикюля сложенный пополам листок в клеточку... У меня сердце обрывается – мамина последняя записка. Откуда она в Голдином ридикюле?

«Ты забыла ее в больничном халате, а они каждый день отдают их в стирку. Мне Ида сказала, когда ты ушла, я успела в последний момент... Халаты правда были грязные», – она брезгливо сморщила носик и передернула плечиками.

Чистюля! За всю жизнь ни разу не сказала «Идочка», только «Ида». Неласковая моя бабушка. Но была у мамы в больнице? Никогда бы не поверила.

Не любила моя бабушка больных и мертвых. «Для чего мне нервы трепать? Я им ничем помочь не могу». Она и живым не очень-то помогала, справедливости ради стоит заметить. За дедушкой Вольфом, правда, ухаживала, когда он перед войной умирал от туберкулеза, себя не щадила, это все помнят, никто тогда дурного слова о ней не сказал. Смертельно боялась заразиться, все делала в хлопчатобумажных белых перчатках, стирала их в хлорке два раза в день. Все сама, хотя дедушка был всеобщим любимцем, и многие были готовы в любой момент прийти на по-

мощь. «Сама», – говорила Голда и посетителей к дедушке пускала по одному, в строгой очередности и ненадолго.

Дома, в маленькой комнатухе, он лежал под высоким узким одностворчатым окном, распахнутым в старый сад в любую погоду, потому что ему было трудно дышать – туберкулез съедал его изнутри день за днем мучительно долго, неотвратимо. Исхудавший донельзя, обессилевший, с трудом поднимал веки, чтобы видеть свою девочку, свою куколку Голду, белокурую, голубоглазую, строптивую гордячку, хрупкую, изящную, как фарфоровая балерина, которую он подарил ей на первую годовщину свадьбы, купил у известного в городе старьевщика Моисея. Дедушка Вольф всю жизнь со своей Голды пылинки сдувал, надышаться не мог, оберегал от всех трудностей, все, что мог, брал на себя – детей, хозяйство, все заботы мужского и женского рода, родителей, своих и Голдиных, родственников с обеих сторон в разных обстоятельствах. И был счастлив. Она не противилась. Жила в свое удовольствие, за мужем жила, так ее бабушка Фейга учила. Ни о чем не беспокоилась Голда, знала – Вольф рядом, он все сделает, как надо.

«Ты не семижильный, Вольф, побереги себя, – предостерегали родственники дедушки, как в воду глядели: – Не о себе, так о Голде своей подумай, как она без тебя жить станет?»

Вопрос не шуточный, но в повседневных заботах не до того было. Он и к врачу за жизнь только раз выбрался сырой промозглой зимой сорокового года, когда дышать неумоготу стало и кашель бил, по ночам в особенности. Запущенный туберкулез. Печально глядя на него, врач сказал: «Прогнозы, батенька, самые неблагоприятные. Не буду скрывать».

Точка! Он ее мысленно в конце своей автобиографии поставил. Ничего особо примечательного в его жизни не было, считал. Пожалуй, этот диагноз – самое нерядовое событие. Мог бы умереть неприметно, как все в семье – кто просто от старости, кто от несварения желудка, это у них в роду было, но тяжелыми болезнями никто не болел, Бог миловал. Голде о диагнозе ничего не говорил до последнего, пока не слег окончательно, знал – она не любит больных и мертвых. Он бы уберег ее от такого тяжелого испытания, избавил бы от себя, немощного, никудышного,

да не знал, как это организовать, к кому за помощью обратиться. Врачи не настаивали на больнице, дома, говорили, лучше. И однажды Вольф знакомого фельдшера попросил сделать ему смертельный укол, осмелился, даже заплатить пообещал, смиренно помолвившись Богу. Да только фельдшер такую злую нотацию ему прочитал, что Вольф понял – выхода нет, никто ему не поможет теперь. Только бедная Голда.

Так оно и случилось. Лежал вымытый, побритый, в чистом белье, в белоснежной постели, несмотря на кровохаркание, накрахмаленные простыни и наволочки привычно поскрипывали, так было всегда, с первого дня их семейной жизни. Голда-чистюля не отступала от своих правил ни при каких обстоятельствах. И не ее вина, что еда оставалась нетронутой, – он осмысленно перестал есть. Даже когда она настырно пыталась кормить его с ложечки, отворачивался. Он не хотел обижать ее, но решение принял – умереть от голода. И отступить не собирался, чтобы избавить себя от мучений и Голду от тяжкого бремени. Она должна жить, а не обихаживать его загнивающую плоть. Дед был книжник, знал много молитв и повторял их про себя, перепутав день и ночь, иногда не мог понять – спит, бредит или уже умер. «Благодарю Тебя, – повторял, пока сознание не отключилось. – Спасибо Тебе, Господи Милосердный... прости меня... прости... И Голду прости за все ее прегрешения, вольные и невольные...» Вздохнул, глубоко, протяжно и больше не дышал.

Голды в это время дома не было, ненадолго вышла в сад подышать свежим воздухом, три раза в день так делала – боялась туберкулезом заразиться. Ничего поделаться с собой не могла – боялась. После смерти Вольфа в комнате сначала дезинфекцию сделала, потом ремонт, выбросила все постельное белье, полотенца, салфетки, посуду, какой Вольф пользовался. И долго еще проветривала комнату, все что-то опасное мерещилось, что вытравить не удалось. Проветривала, пока бронхит не подхватила, долго кашляла и задыхалась. Уж не туберкулез ли, думала бессонными тревожными ночами. Потом все прошло и забылось, не любила она о плохом вспоминать. Все страхи ушли бесследно.

Она прожила без Вольфа почти четверть века. Пережила войну, отъезд из Одессы, эвакуацию. Замуж не вышла, даже не по-

мышляла, хотя поклонники были – и тонкие сухие пергаментные пальчики целовали, едва касаясь губами, и цветы дарили, и газовые косыночки, и предложения руки и сердца делали. Однажды чуть дуэль из-за нее не произошла там же, на Соборной площади, один кожаную добротную перчатку бросил, другой принял вызов, только подробности поединка обговорить не успели – у одного из дуэлянтов сердечный приступ случился от волнения, неотложная помощь увезла в больницу. Всяко было. Голда оставалась холодна и невозмутима, всем отказала и продолжала ходить на Соборную площадь как ни в чем не бывало. В Одессе муссировали эти подробности, и больше никто не отваживался приблизиться к ней. Так говорила Голда, многозначительно вздернув тонкие бровки, я не могла проверить и верила ей на слово.

В главном она не изменилась – любила по-прежнему себя и старшую дочь, хоть их общение тоже свелось к несчастным встречам в кафе на Преображенской – обе сластены, полакомятся мороженым или пирожными, поговорят ни о чем и разойдутся, каждая сама по себе. Отношение к больным и мертвым тоже не поменяла – никого не навещала, никого не хоронила. Даже сестер своих. «Для чего мне мертвые? – спрашивала. – И я им теперь не нужна. Да упокоятся с миром... Все там будем».

Но к маме в больницу все-таки пришла. Иначе откуда знает о записке? А она знает, я чувствую. Глаз с нее спускать не буду, пока не отдаст мне листок из маминого блокнота.

Дверь приоткрыта, и тень расплзается по углам, темная, плотная. Ничего не вижу, никого. И Голды нигде нет. Никогда она не нужна была мне так, как сейчас. Помню, как я плакала, узнав о ее смерти, вздохнул, не могла остановиться и понять не могла – отчего плачу. Сидела в скверике на территории почтового ящика, где работала тогда, и на вопросы, почему плачу, – отвечала дрожащими губами: «Бабушка умерла». Бабушка умерла – большое горе, это все понимали. Даже завлаб подписал мне увольнительную не «по собственному желанию», а «по служебному делу», и отпустил домой. Сам предложил, я не просила. В рабочее время уйти с работы не за свой счет – событие. Иду по улице, радуюсь

свободе, лето в зените, слезы ушли. В моей жизни ничего не изменилось. Я оплакивала мамино горе – у нее умерла мама, она ее любила.

Теперь умерла моя мама, а я потеряла ее последнюю записку.

«Начали за здоровье, кончили за упокой...» Мама слабо улыбалась, пыталась шутить, когда узнала от лечащего врача, что этот инфаркт не идет ни в какое сравнение с предыдущими – в смысле тяжести и глубины. «Можете себе представить – я совсем не переживаю...» Она говорила так, чтобы мы не волновались. И главное: «Папусе не говорите, ему нельзя нервничать».

Скрыть мамину смерть от папы мы не смогли и подготовить его не успели – он снял трубку, когда позвонили из реанимации, и молча стал одеваться. Мы вместе поехали в больницу, где уже не было нашей мамы.

Голда не подошла к нам. Стояла в сторонке, отвернувшись к стене, достала пудреницу, напудрила носик, мизинцем подкрасила губы, мазнув им по тюбику с помадой, поправила прическу, косыночку на шее – все безукоризненно. Щелкнула замочком своего черного ридикюля и, не взглянув на нас, ушла, будто в воздухе растаяла, потому что иначе ей надо было бы пройти мимо нас. Другого пути не было. Но она исчезла вместе с маминной последней запиской.

У дверей реанимации еще толпились одесситы, первое возбуждение улеглось, вполголоса переговаривались между собой, улыбались, даже посмеивались потихоньку, бестолково переступали с ноги на ногу, не знали, что делать. Притянуло всех сюда горе, а дальше что: мертвым – налево? живым – направо? А они уже перемешались, не разобрать, где кто.

«Голда снова приходила, ни к кому не подошла, потопталась у входа в реанимацию, шарил руками под дверью, как будто что-то искала... И растворилась в воздухе, только запах духов остался. Все у нее не как у людей!» – прошептали мне на ухо слово в слово: в правое – живая и вполне в своем уме тетя Лиля с шестой станции Большого Фонтана, как только добралась до Москвы на своих слоновьих ногах, давно уж из дома не выходит; в ле-

вое – умершая лет двенадцать-тринадцать назад Кируша, мамина двоюродная сестра и подружка, Голдина племянница, знавшая ее как облупленную, все фокусы, все плюсы и минусы, все понимала и не осуждала огульно, как многие другие.

Они обе ее видели здесь и сейчас!

В коридоре пусто, из-под двери уголком торчит листок, словно его подсунули с той стороны.

Схожу с ума?

*«Дочурочки любимые мои я умираю как вы будете без меня душа болит за вас берегите папуся пусть он не обижается что покидаю его трудно писать целую».*

Почерк не похож на мамин, даже на ее больничные каракули, и бумага не в клетку, и Голда по-русски писать не умеет. И дата странная: 26.03.83.

Мама умерла 27 марта 1982 года.

Ни маму, ни бабушку Голду я больше никогда не видела. Мама не снится мне, я зову ее, жду, ищу, себя потеряла. Ушла за мамой и заблудилась. Назад дороги нет. Здесь без мамы я совсем другая, сама себя не узнаю. Безучастное к жизни время идет, не замедляя и не убыстряя ход, не подстраиваясь под нас – бежим мы или стоим на месте. Я уже старше мамы, и это странно. Изредка перечитываю ее записочки из реанимации, предварительно выпив транквилизатор, чтобы затормозиться, или для храбрости – алкоголь. В старой косметичке лежат чистые платочки, салфетки, какие-то недопитые лекарства, тайком принесенные из дома, ручка, которая перестала писать в последний день, и пожелтевшие листочки – мамины записки нам, наши записки маме. И конверт с деньгами, маминой рукой написано – «на жизнь», мы нашли его дома после маминой смерти. Метаморфоза.

На жизнь. За жизнь. Лехаим.

Вспоминая маму, мы чокаемся и говорим «лехаим». Это мамино завещание: «Я всегда буду с вами, даже когда меня не будет»...

Она всегда с нами.

Восемь дней, шесть записок. Последней здесь нет.

А все же – спасибо бабушке Голде, не зря она приходила.

Меня к маме не пустили, а ей не нужно было разрешение. Постояла рядом. «Спи спокойно, Идочка, все позади. А записку твою я им покажу».

«Идочка», – сказала. Я ясно слышала сквозь стены и двери, сквозь расстояния и городские шумы. Бред какой-то. Но что явь, что бред – я в том роковом марте не понимала.

А может, и нет никакой разницы. И в этом спасение.

